

# Оглавление

1. НАЧАЛО .....	7
2. МОРКОВКА .....	36
3. ВИЗАНТИЯ .....	50
4. ДУБУЛТЫ .....	73

## СЛОВАРЬ

А—В .....	99
-----------	----

5. СТРОЙОТряд .....	119
6. НСО И КОНФЕРЕНЦИИ .....	151
7. МАРЬЯНА .....	175
8. КАЖДАН .....	192

## СЛОВАРЬ

Г—К .....	207
-----------	-----

9. КОЛЯ МАСТЕРОПУЛО .....	235
10. ПОХОРОНЫ ОТЦА .....	253
11. КИРА .....	266
12. ЛЕНОЧКА БОЛЬШАЯ И ЛЕНОЧКА МАЛЕНЬКАЯ .....	287

## СЛОВАРЬ

Л—О .....	300
-----------	-----

13. ЛОРД ГРЕГОРИ .....	319
14. ГАСЯ И ТАСЯ .....	341
15. КОШКА БЫТИЯ. КАРУСЕЛЬ .....	379
16. ДИПЛОМ .....	414

СЛОВАРЬ

П—Я .....	423
-----------	-----

17. ИВАНОВСКИЙ .....	451
18. ПИРЯТИН .....	465
19. ПРОЩАНИЕ .....	488

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЛОВАРЮ .....	493
----------------------------	-----

20. ПОКАЯННЫЙ ПСАЛОМ .....	496
----------------------------	-----

# 1.

## НАЧАЛО

**В** 1973 году я окончил филфак МГУ. Было место в аспирантуре — даже два места, для меня и для моего однокурсника Миши Бибикова — в Институте истории СССР, в отделе, где занимались античными и византийскими проблемами. Заведующий этим отделом профессор Владимир Терентьевич Пашуто нас и позвал.

Там была необычная ситуация. Историк Антоний Флоровский — брат знаменитого богослова Георгия Флоровского — завещал деньги для стипендий молодым российским ученым. Этот, выражаясь по-нынешнему, грант попал в Институт истории СССР. Но сам Флоровский жил и умер в Европе — выражаясь по-тогдашнему, был *белоземгрантом*. Грант от эмигранта, такое везение.

Вдруг бабах! — родной факультет мне не подписывает характеристику. Что такое характеристика в те годы? Это на самом деле рекомендация. А партком факультета мне эту рекомендацию не дает. Почему? Никто ничего не может толком объяснить. Прихожу к нашему факультетскому партсекретарю профессору Юшину, а он говорит: “Что же вы, дорогуша, так плохо изучали политэкономия? Вот у вас по политэкономии социализма — тройка. Нехорошо. А по капитализму — четыре. Если бы наоборот, еще туда-сюда. А так —

идеологически неправильно давать вам положительную характеристику”. Ясно, что врет. Надо что-то делать или хотя бы понять, в чем дело.

У меня был друг Саша Жуков, у него отец был академик, директор Института всеобщей истории. Я набрался сил и попросил у него помощи. Академик — Евгений Михайлович Жуков — позвонил секретарю парткома МГУ товарищу Протопопову: “Что случилось? Такой способный молодой человек!” Казалось бы, звонок от члена президиума АН СССР, председателя Международного комитета историков и прочая и прочая... Но ничего не вышло, и вот почему: на подъеме была очередная волна эмиграции, и именно в те два-три года (1973–1975) с отъезжантов решили взыскивать деньги за обучение. Вас, ребята, бесплатно учило наше советское государство — теперь верните ему потраченные на вас деньги. С тех, кто просто окончил вуз, планировалось брать что-то около четырех-пяти тысяч рублей: сумма серьезная, но в общем-то подъемная для советской семьи — дешевле автомобиля. А с окончивших аспирантуру — чуть ли не пятнадцать тысяч, невообразимо! Товарищ Протопопов всё объяснил: “Этот ваш Драгунский — мало того что еврей по отцу, а отец его вдобавок еще и в Нью-Йорке родился. Рано или поздно такие люди эмигрируют. Вот он однажды решит уехать, мы с него захотим взять пятнадцать тысяч за аспирантуру, а он скажет: «Я не на ваши советские деньги учился, а на заграничный подарок белоэмигранта Флоровского, поэтому фигу вам с маслицем». И ведь будет прав! И мы будем вынуждены отпустить его бесплатно. Так что извините”.

Я бросился к своим, на кафедру. Говорю: “Это несправедливо. Я два с половиной года был председателем научного студенческого общества. Был членом комитета комсомола. Помогал кафедре, вел занятия по латыни со студентами отделения русского языка, когда у нас не было людей, — теперь помогите мне!”

**Н**о давайте с самого начала. Первого сентября 1968 года было воскресенье. Повезло! Первый день занятий 2 сентября. Было очень солнечно. Вообще всё лето было солнечным, и так продолжалось почти до конца осени. Мы собрались на психодроме. Мы — это счастливицы, которых приняли на первый курс филологического факультета МГУ. А психодром — это скверик старого университетского здания за чугунным забором с двумя калитками справа и слева, с двумя памятниками — Герцену и Огареву из серого бетона, которые прятались по углам, в кустах. Они были почти одинаковые. Я смотрел на них два года, но так и не запомнил, где там Герцен, а где Огарев. Кажется, Огарев слева — ближе к филфаку.

Посредине этого очень красивого здания, выстроенного покоем, был выступ с восьмиколонным портиком и двумя лестницами, ведущими в читальный зал, где я никогда не был. Внизу, под этими лестницами, — узкий полукруглый ход в довольно длинный, метров пятьдесят, тоннель, который выводил — и сейчас, наверное, выводит — в огромный старый университетский сад. Если войти в этот тоннель с психодрома, то сразу направо была большая столовая, в которой мы довольно часто обедали и пили пиво, иногда со сметаной, была у нас такая странная забава. А в конце тоннеля был туалет. По этой причине сам тоннель назывался “пищетракт”. В правом крыле был маленький скромный вход в знаменитый Институт восточных языков МГУ, который года через три переименовали в ИСАА, Институт стран Азии и Африки. А вот слева, ближе к улице Герцена, — такая же скромная дверь с маленькой вывеской “Филологический факультет”.

Итак, мы стояли на психодроме — нам велено было прийти к девяти утра. Стояли толпой, не решаясь войти в эту маленькую дверку, и правильно делали. Потому что из этой дверки вышел какой-то человек и сказал: “Первокурсники! За мной!” Мы вышли из калитки, перешли улицу

Герцена и вошли в другую калитку, в так называемое новое здание университета, творение архитектора Евграфа Тюрина и построенное лет через пятьдесят после первого, старого, которое строил великий Матвей Казаков. Вот почему Солёный из “Трёх сестер” говорил, что в Москве два университета. Это мне кто-то умный объяснил за те три минуты, покуда мы шли с психодрома вслед за нашим провожатым. Обогнув памятник Ломоносову, мы вошли в роскошное парадное здание экономического факультета (в 1970-м туда переехал журфак). Кстати, именно там мы писали вступительное сочинение, потому что в нашем здании больших аудиторий не было.

Поднявшись по внутренней парадной лестнице, мы вошли в Комаудиторию (тогда она так называлась — Коммунистическая, бывшая Богословская, ныне Академическая) — огромный амфитеатр с полукруглыми дерматиновыми скамейками и удобными полочками, которые тоже шли полукругом и позволяли разложить книги и тетрадки для конспектов.

Началась торжественная церемония вручения студенческих билетов. Какие-то нам тогда еще неизвестные мужчины и женщины сидели за столом, а на кафедру вышел мужчина в черном костюме с довольно противным выражением лица. Казалось, он был чем-то сильно недоволен. Его длинный нос спускался к верхней губе, которая кривилась в презрительной усмешке. Кто-то сказал, что слово предоставляется декану филологического факультета доценту (мы все это сразу отметили — не профессору, а доценту) Алексею Георгиевичу Соколову. “Ну и рожал!” — сказала какая-то незнакомая девушка, сидевшая рядом со мной. Я решил заступиться за декана и сказал: “Ну и что такого, рожа как рожа”. — “Нет, ты посмотри, — прошептала она, — как губы надул и глазами вертит, как будто...” — “Как будто что?” — спросил я. “Как будто пирожок кушал, а там лягушка оказалась. Глотать противно, а выплюнуть неудобно”. —

“Какая одаренная девушка! — подумал я. — Какой талант образности!”

Декан Соколов, в отличие от двух следующих деканов, Леонида Григорьевича Андреева и Ивана Федоровича Волкова (которых я не застал деканами, но знал профессорами и не раз общался с ними), всегда казался мне человеком холодным и надменным. Впрочем, я с ним никогда не разговаривал, но вид у него был именно такой. Однако через много-много лет одна моя хорошая знакомая, которая писала под его руководством то ли диплом, то ли диссертацию, убежденно говорила, что Алексей Георгиевич человек очень добрый, милый, тонкий знаток литературы Серебряного века, а кроме того, фотограф-любитель. Но любитель серьезный, у него были какие-то особенные фотоаппараты и объективы, и он делал потрясающе красивые женские портреты. Ну что ж, бывает.

Тем временем декан Соколов произнес короткую речь, почему-то подчеркнув, что перед нами открывается прекрасная и, можно сказать, святая перспектива — стать народными учителями. Он так и сказал. Потом я понял, что это было отражение какого-то глубокого идейно-методического конфликта в руководстве филологического факультета. Одни считали, что задача филфака — готовить исследователей, ученых, а другие — что готовить надо учителей. Сейчас мне кажется, что в этом споре, скорее всего, было что-то личное. Кому-то декан Соколов хотел накрутить хвоста, потому что учителей все-таки, хочешь не хочешь, готовят в педагогическом институте. Я говорю об этом с такой уверенностью, потому что на третьем курсе был свидетелем открытой стычки — на глазах чуть ли не всего филфака — между деканом Соколовым и его заместителем, доцентом Михаилом Никитичем Зозулей. Доцент Зозуля, обращаясь к нам, говорил, что мы должны делать новые открытия, становиться учеными, раздвигать горизонты науки и так далее, а выступивший вслед за ним декан Соколов тут же сказал:

“Михаил Никитич ошибается, филфак готовит народного учителя”.

Закончив свою речь, декан Соколов слез с кафедры и подошел к столу, на котором уже лежали студенческие билеты, разложенные по алфавиту. Он стал называть наши фамилии. Мы по очереди сбегали со ступенек этого довольно-таки крутого амфитеатра, взбегали на сцену, получали билет, напутственное рукопожатие, шли на место, а навстречу неся наш следующий однокашник или однокашница. Мне достался студенческий билет, на который я, разумеется, сдал самую красивую свою фотографию. Я был на ней кудряв и очень усат. Но вот чёрт! Печать была какая-то раскляксанная, смазанная. Из-за этого со мной случилось забавное и малоприятное приключение, о котором я расскажу позже.

А лучше прямо сейчас, пока остальные ребята получают свои студбилеты.

**О**днажды осенью 1972 года случилось так, что я заснул в зале ожидания Савёловского вокзала. Была ночь. Оказался я там по такой вот причине. Через несколько месяцев после смерти папы (он умер в начале мая, а это был уже октябрь) у моей мамы завелся, скажем так, близкий друг — и вот как раз в тот день он собрался к маме в гости. Это был хороший человек, между прочим, я с ним даже подружился. Довольно известный республиканский поэт. То есть не республиканец в противовес американским демократам или европейским монархистам, а поэт одной из автономных республик в составе Российской Федерации. Человек, еще раз повторяю, талантливый, милый и приятный.

Тем не менее оставаться дома мне не хотелось, и я решил пойти к своему другу Коле Мастеропуло, который жил на Каляевской в стареньком деревянном доме на втором этаже. В его квартиру был отдельный вход со двора через

галерейку — длинная лестница наверх, с дощатыми стенами и крышей. Разумеется, в таком доме телефона не было, но я почему-то был уверен, что Колька у себя. И поэтому сказал маме, что Колька давно меня ждет, мы с ним выпьем, поболтаем и я у него заночую.

Тут была еще одна тонкость. Я уже был женат. Но с моей обожаемой женой Кирой мы со второго дня после свадьбы были в тяжелой невылазной ссоре. Поехать к ней — мне такое и в голову прийти не могло. Были, впрочем, еще две девочки — Леночка Большая и Леночка Маленькая. Но обе они, как на грех, были дома в кругу — верней, в кругах — своих семей. То есть с родителями.

А к другу Андрюше Яковлеву я не поехал — точно не помню почему. То ли его не было в Москве, то ли я просто не хотел отвечать на вопрос, чего это я на ночь глядя явился к нему с ночевкой. Боялся, что проговорюсь насчет мамы, поскольку не хотел афишировать ее отношения с республиканским поэтом. Я совершенно точно знал, что Кира ни с какой бухты, ни с какой барахты мне в полночь звонить не будет. Хотя кто ее знает... Поэтому на всякий случай я сказал маме: если мне позвонят, скажи, что я давно и крепко сплю и ты меня будить не собираешься. То есть я сам себе вырыл эту яму. Потому что Кольки дома не оказалось, а прикорнуть у него под дверью в этой холодной галерейке я просто-таки испугался: вдруг замерзну совсем до смерти?

Но стоило мне только задремать в зале ожидания пригородных поездов Савёловского вокзала, как ко мне тут же подошли два милиционера. “Документики”, — спросили они. Очевидно, я слишком сильно выделялся среди окружающей публики — мужиков в ватниках и теток в плюшевых душегрейках. Паспорта у меня с собой не было, и я протянул студенческий билет. “А документик-то фальшивый! — радостно закричал милиционер. — Пройдемте”. — “Почему это фальшивый?” — возмутился я. “А сам посмотри, какая печать. Эх ты, руки-крюки! — он даже похлопал меня по пле-

чу. — Давай рассказывай цель приезда в Москву, когда и откуда”. Мы с ним долго препирались, он даже позвонил в какую-то главную милицейскую картотеку города Москвы, и, о ужас, моих имени-фамилии там не было! Каких-то знакомых и незнакомых Драгунских — полно, а меня нет! Тогда я назвал ему свой адрес и телефон. Сказал, что мою маму зовут Алла Васильевна, хотя, конечно, до смерти не хотел этого делать. Но лучше уж так, чем КПЗ, подумал я. Через восемь или двенадцать гудков мама сняла трубку. “Алла Васильевна! — вежливо сказал милиционер. — Позовите, пожалуйста, вашего сына Дениса Викторовича”. — “Он спит, — ответила мама. — Я не буду его будить”. — “Вот видите! — милиционер от радости даже на «вы» перешел. — Назовите цель приезда в Москву, когда и откуда”. Тут я вырвал трубку у него из рук и закричал: “Мама, я здесь!” Как ни странно, милиционер мне тут же поверил и сказал: “Теперь освободите помещение”. Я спросил: “А никто из вас случайно не поедет патрулировать в район сада «Эрмитаж»?” Он засмеялся и сказал: “Черт с тобой, довезем!” Вызвал какого-то другого парня, что-то ему сказал... В общем, я первый раз в жизни ехал на мотоцикле с коляской — в коляске. Ехал и думал: слыханное ли дело, меня нет в главной московской милицейской картотеке! Наверное, этим можно воспользоваться, но как?

**Т**ем временем декан Соколов закончил раздавать студенческие билеты и объявил, что сейчас будут две вводные лекции. Введение в специальность. Эти лекции читали два легендарных профессора — литературовед Роман Михайлович Самарин и лингвист Юрий Сергеевич Степанов.

Самарин, как я узнал чуть позже, был легендарен тремя вещами. Он был выдающийся лектор, он так поразительно читал историю европейской литературной критики, что

послушать его приходили студенты других специальностей и даже, кажется, с других факультетов. Мало того что он досконально знал материал, он потрясающе хорошо умел его преподносить. Кроме того, он был специалистом по Шекспиру и вообще по классической западной литературе. Вторая его легендарность — он был не просто марксист, как все тогда, по печальной необходимости, — нет. Он был упертый марксист грубого помола. “Попахивает переверзевщиной!” — говорили о нем эрудиты-аспиранты. Валериан Переверзев, если кто не в курсе, был такой литературовед 1930 годов, который до того прямолинейно сводил всю литературу к классовой борьбе, что даже советская официальная критика начала борьбу с переверзевщиной. Опираясь на цитаты Маркса, Ленина и Сталина, товарищу Переверзеву и его сторонникам объяснили, что литература — это все-таки не фотография классовой борьбы. Но Самарин был неустойчивым марксистом. Вдобавок он выступал с погромными речами и статьями, клеймил антисоветчиков и космополитов, но сам при этом был беспартийным.

Третья легенда: шептали, что Самарин — незаконный сын известного литературоведа 1920–1930-х годов академика Белецкого.

Выглядел он очень картинно и живописно: коренастый, полноватый, с толстым круглым носом, с широкими сильными руками, в черном, как казалось, мешковатом костюме, на котором единственным украшением была золотая прищепка на лацкане, от которой шла золотая цепочка к часам в нагрудном кармане пиджака. В дополнение к этому короткая седая стрижка и хриплый бас.

Последняя легенда о профессоре Самарине вскрылась сравнительно недавно. Оказалось, что этот правоверный марксист тайком писал стихи, оплакивающие судьбу казаков с проклятиями в адрес большевиков. Разыскано это было, разумеется, через много лет после смерти профессора.

Возможно, в этом и был секрет его твердокаменного марксизма: гримировался.

Впрочем, это не единственный такой случай на филфаке. Был у нас еще один профессор, Геннадий Николаевич Поспелов, заведующий кафедрой теории литературы. Скучнейший, надо сказать, лектор, излагавший всё те же самые марксистско-ленинские догмы, даже не пытаясь придать им хоть какой-то подвыверт, как это делало большинство советских гуманитариев. И лицом — типичный советский чиновник от науки. Как говорится, долдон. Как же я изумился, когда узнал, что едва ли не самый знаменитый диссидентский текст 1960-х, так называемое “Завещание академика Варги”, блистательный анализ советской идеологии и экономики, со всеми убийственными характеристиками и властной верхушки, и ко всему привыкшего народа, подписанное именем пару лет назад (от того момента) умершего “крупнейшего советского ученого, выдающегося деятеля международного рабочего движения”, венгерского коммуниста, классика советско-марксистской экономической мысли (мемориальная доска с красным знаменем на доме № 11 по Ленинскому проспекту, улица его имени на Юго-Западе), — что этот текст написал наш Геннадий Николаевич, этот — простите нас, профессор! — застегнутый на все пуговицы советский долдон. Впрочем, был случай, когда Поспелов чуть-чуть себя не выдал: он был, кажется, единственным видным профессором филфака, который почти демонстративно не подписал письмо с осуждением Синявского и Даниэля.

Профессор Самарин громко и хрипло объяснял нам задачи советского литературоведения, рисовал перед нами горы книг и стога статей, которые мы должны обязательно прочесть, и вдруг ему подали записку из зала. Ее послал какой-то шутник, наверное. Не помню уже, что там было, но Самарина возмутило, что записка была написана по старой орфографии. А в начале было написано (всё это он прочи-

тал громко вслух) “проба пера” через ять. “«Перо» через ять! — захохотал Самарин. — Это ж надо! Это же все равно что писать «корова» через ять! Если уж вы написали мне по старинке «проба пера», то я вам по старинке отвечу: «Примите и проч.». — И чуть ли не закричал: — Но «прочь» с мягким знаком! Прочь отсюда!” — и своим коротким пальцем ткнул в аудиторию, как будто знал, кто ему написал. Никто, разумеется, не откликнулся.

А следующую установочную лекцию, по языкознанию, читал Юрий Сергеевич Степанов, тогда профессор, впоследствии академик. Степанов — полнейшая противоположность Самарину. Во-первых, молодой. Во-вторых, худощавый, изящный, ухоженный. В красивом светло-бежевом костюме. И вообще весь нежный, бархатистый. Говорящий мягким тенором. И если Самарин просто стоял на кафедре и только изредка воздевал руку, работая в основном голосом (то есть вел себя как типичный римский оратор), то Степанов был как оратор греческий, для которого важнее всего жесты. Он расхаживал по эстраде, то подходил к кафедре, то отбегал от нее, то садился на длинный, застланный сукном стол, то снова возвращался к кафедре и опирался на нее локтем, как будто пригорюнившись, и вся его фигура от безупречно причесанной макушки до светлых замшевых туфель была изящна, как будто бы нарисована французским художником. И сам он был чрезвычайно французский. Про него рассказывали, что он был личным переводчиком Хрущева с французского языка и что якобы Хрущев в благодарность за службу подарил ему кафедру общего и сравнительно-исторического языкознания на филофаке МГУ. Думаю, что в этой легенде, как и во всякой байке или сплетне, только кусочек правды. Вполне возможно, что Степанов действительно служил кремлевским переводчиком какое-то время, но вот насчет дареной кафедры явные выдумки. Мне особенно приятно было слушать Степанова, потому что я с ним был знаком. Меня ему представил еще в 1966 году

Симон Маркиш, переводчик Плутарха. Должен признаться, что я не умел, как сказано у Льва Толстого, “*культивировать знакомства*”. Поэтому, несмотря на все добрые улыбки и кивки Степанова в коридоре, — он, очевидно, меня узнавал, — я к нему так ни разу и не подошел. Впрочем, мне это было незачем. Я не собирался заниматься общим, а тем паче сравнительно-историческим языкознанием. Но, соображая задним числом, я думаю, что знакомство с Юрием Сергеевичем мне помогло жить на факультете. Возможно, какой-то мимолетный кивок Степанова, услышавшего мою фамилию, шел в копилку мнений обо мне как о “*блестящем студенте*”.

Странное дело. Честно говоря, учился я так себе. Я не был отличником. Случались и тройки, и пересдачи, и хвосты, и позорные провалы — например, первый незачет по немецкому. Тем не менее ко мне крепко приклеился ярлык “*блестящего студента*”. Я попытаюсь разобраться, понять и рассказать, в чем тут было дело.

Но вот вводные лекции закончились, и мы толпой повалили назад, на психодром. Долго втискивались в эту маленькую дверку — как странно, такой можно сказать, важный факультет, главный среди гуманитарных, и такое скромное помещение. Потом я узнал, что это крыло старого “*казаковского*” здания университета было общежитием. Но общежитием старинным, тогдашним, XVIII — начала XIX века. В комнате, в которой мы, то есть наш курс нашей кафедры, обычно занимались, на стене висел большой портрет Белинского. Нам объяснили, что именно вот в этой келье Белинский и жил, когда учился в Московском университете.

**В** эту келейку и запихивалась наша группа: Миша Бибиков, Лена Ильенкова, Толя Юдакин, Галя Ильина, Оля Мазырина, Володя Сеницын, Саша Луцков, Алеша Граве и я. Эти девять человек поступили в 1968 году.

И еще к нам присоединился Валентин Асмус. У него год назад, в самом начале первого курса, случился сложный перелом руки, так что он совершенно не мог писать, и ему дали академический отпуск. Итого десять человек. Давайте теперь чуточку подробней.

Миша Бибиков — тот самый абитуриент, который помог мне сдать экзамен по истории, испросив разрешения пользоваться школьным учебным атласом, а в атласе были все населенные пункты и даты, в результате чего я отлично ответил на вопрос о разгроме врангелевских армий, к чему совершенно не был готов. Сейчас он профессор, выдающийся византиновед, заведующий профильной кафедрой на филфаке, автор двухтомника “*Byzantinorossica*. Свод византийских свидетельств о Руси”. Уже с третьего курса мы с ним устраивали на факультете маленькие конференции под названием “Византино-русские чтения” — вот отсюда, наверное, это и выросло.

Лена Ильенкова потом стала историком психологии, вышла замуж за великолепного журналиста и писателя, ныне покойного Андрея Иллеша, и стала звучать совсем уже по-заграничному — Елена Эвальдовна Иллеш. Андрюша Иллеш был действительно на четверть венгр, внук писателя-коммуниста Белы Иллеша, а вот Ленкин папа Эвальд Васильевич был совсем русским, сыном не особо известного литератора 1930-х годов Василия Ильенкова. Эвальд Васильевич был знаменитым советским философом, культовой, как нынче выражаются, фигурой, основателем целого научного направления. “Он настоящий ильенковец!” — бывало, говорили тогда про какого-нибудь молодого философа, и для одних это было выражением восторга, а для других — клеймом.

Толя Юдакин, впоследствии профессор-лингвист, был человеком необычным. Настоящий донецкий шахтер. Попал в подземную аварию. Ему отдало правую руку, она стала тонкая и слабая. Он получал большую пенсию,